

Леонид Лейдерман

Старокрымский синдром

Санаторий

Шурочка, Шурик – мы с ней знакомы уже тыщу лет.

Молоденькой девушкой Шурик попала в санаторий в Старом Крыму, и ее соседкой по комнате была москвичка Таня. Таня тайно встречалась с неким Эрвандом, а Шурик стала у них доверенным связным. Знакомство Тани с Эрвандом, конечно, можно считать случайностью, но в санаторий их привела одна и та же причина – туберкулез. Который в Советском Союзе после Отечественной войны был на редкость популярен, а опасен – смертельно.

Говорят, что туберкулез – болезнь бедняков. Мол, бедняк плохо питается, оттого у него слабый иммунитет. В войну все стали бедняками. Почти все. И туберкулезные диспансеры, больницы и санатории были на слуху у всех, а в первую очередь – у товарищей по несчастью. Эрванд и Таня были не просто знакомые, а товарищи по несчастью. Так будет правильнее.

Таня была замужем, а Эрванд не был женат. То есть был женат – раньше, но они с женой разошлись. Разошлись дороги.

Среднюю школу Эрванд оканчивал в Одессе, но дальше учиться поехал в Киев, в тамошний университет. В Одессе тоже есть университет, но в нем не было факультета журналистики. Такие факультеты на всю Украину были тогда только в Киеве и Львове. А Эрванд хотел именно на журналистику, и поэтому поехал в Киев.

В Одессе Эрванд, видимо, слыл незаурядным школьником, поскольку свой десятый класс он окончил с золотой медалью,

а медали тогда были полновесными. Незаурядным он должен был слыть и в своем «красном», как его еще называют, Киевском университете – окончил его с красным дипломом. Так или не так, только на выходе из университета Эрванд был обладателем не только диплома и университетского значка, но и – свидетельства о браке.

Он получил назначение в одну из районных газет Черкасской области, отработал там, сколько было положено, а из старокрымского санатория должен был направляться в Одессу. Получается, что жена Эрванда потерялась где-то между Киевом и Старым Крымом.

Нужно сказать, что разводы тогда были не столь часты, как сегодня. И не в том дело, что раньше и солнце светило ярче, а просто свобода разводов хоть и была, но как-то не в моде. Мол, если не успел повзрослеть – не женись, а женился – так чего ж разводиться?

Но – разошлись они. Может, это Эрванд что-то не рассчитал. А может, она. Может, не захотела ехать с ним в какой-то райцентр, в глушь? Маловероятно. В те годы ехать на работу по разнарядке было делом обязательным, она должна была быть готова. Испугалась его туберкулеза? Представила, что будет завтра. Сначала заботливая сиделка, потом сама чахоточная – форма-то открытая, долго ли заразиться?.. И тогда если замужем – лучше без близости, если близость – лучше не беременеть, если беременеть – лучше не рожать, а если рожать – так уж точно не кормить, чтоб не передать ребенку через молоко... Так, кажется, наставляли тогдашние фтизиатры. Может, и испугалась.

А может, и иначе все было.

В одесской газете, в которой после черкасского райцентра работал Эрванд Захарянец, был напечатан его рассказ. Газета была молодежная, Эрванд был молод, и герои его рассказа были парень и девушка. Парень и девушка – обыкновенные влюбленные с необыкновенными, как и положено, чувствами. Но... Прогуливаясь по безлюдным живописным окрестностям, они набредают на следы прокатившейся здесь войны. И оказывается, что они очень разные люди, эти парень и девушка, они

по-разному видят эти следы войны, они не только разные – они просто чужие! И необыкновенные чувства куда-то отступают, отступают, и – как надо полагать из рассказа – растаивают вовсе...

Это было время, когда война на каждом поставила и оставила свою отметину. И на тех, чья жизнь прервалась – хоть на фронте, хоть в оккупации, хоть в эвакуации. И на тех, кто остался жить. Война была той лакмусовой бумажкой, по которой сразу можно было распознать, кто свой, а кто не свой, кто удостоился твоего восхищения, кто ненависти, а кто – презрения. И этот рассказ Захарянца, не знаю когда написанный, вполне мог быть неким преломлением конфликта между взглядами и принципами молоденького журналиста Эрванда и его столь же молоденькой жены. А время тогда было такое, что взгляды и принципы были как бы на первом плане, а письма могли заканчиваться словами «С комсомольским приветом», а не, скажем, «Целую». И в ходу было слово «мещанка», каким сознательная мужская молодежь клеймила девочек, которые общественной пользе предпочли мелкое (мелкое!) бытовое благополучие.

Хотя вполне возможно, что рассказ этот не имел к жене Эрванда никакого отношения. Версий может быть много. Это только кажется, что причина на поверхности... Я как-то попал на слушание дела о разводе одной пары. Он любит музыку, артист, гастрольные поездки. Она же, напротив, любит литературу, тишину и вообще покой. Ну как же им не разойтись! Суд счел причину уважительной и пошел навстречу...

Суд мудрый. Суд, может, и слышал об идеальных супружеских парах, только узкоспецифическая бракоразводная практика подсовывала судьям одни лишь неидеальные варианты. Множество неидеальных вариантов. А народная надежда – «стерпится – слюбится» – не всегда сбывается. Не стерпелось, а там и не слюбилось. А значит, и расходиться надо, да поскорей, пока без детей.

Эрванд и его жена разошлись, и в Старом Крыму был Захарянец свободным мужчиной. А Таня-Татьяна хоть и была, как говорится, за мужниной спиной, только мужа на тот момент

рядом не было, и оказалась она незащищенной один на один и лицом к лицу с Эрвандом, перед нескромным обаянием которого не устояла. Но показывать это никому нельзя. Вот тогда и вышла на сцену жизни соседка Тани по комнате Шуручка, Шурик.

Шуручка-Шурик была от Эрванда в восторге. Ей крупно повезло – когда ни у кого из троицы не было лечебных процедур, Эрванд и Таня для конспирации прогуливались исключительно в присутствии Шурика, а когда на процедурах была только Таня – такое тоже случалось, – Шурик с Эрвандом для поддержания конспирации гуляли вдвоем. Так что Шурик могла наслаждаться общением с Эрвандом, считай, вдвойне. Общение же состояло в том, что Эрванд говорил, а Шурик слушала. Говорить ему было о чем, а слушать его было одно удовольствие. Одно, и два, и столько, сколько получится. Так что прикрытие у Тани было надежное – Эрванд вроде с Шуриком прогуливается (их даже дразнили – мол, Абрам и Сарочка), а Таня так, соседски, сбоку бантик.

Абрам и Сарочка – это из-за Шурика. Она Шурик в миру, а в паспорте – Шлима, и национальность – еврейка. Еврейка! Значит, Абрам и Сарочка.

Конечно, если ты в туберкулезном санатории, то это вовсе не значит, что нужно думать только о своих кавернах или поддуваниях, хотя от этого не уйдешь. Но чтоб было в голове место разбираться, кто какой национальности? Когда у каждого на глазах: из больничной палаты два пути – или в морг, или, если повезет, в санаторий, жить дальше. Ты попал в санаторий – подкрепишь, чтоб болезнь, не дай бог, не вернулась. Порадуйся за себя и за соседа, неважно какой нации. О чем твои мысли? Хотя... Болезнь болезнью, а чем до нее жили, о том и сегодня мысли. Но это так, к слову. К тому, что Эрванд в таких случаях не лез в драку заступаться за интернационализм. Он просто миролюбиво предлагал Шурику не обращать внимания. Может, потому что пацифист? Верит, что незлобивостью можно зло перешибить? Или потому, что при операции и кусок легкого оттяпали, и ребро укоротили? И не рекомендуется подставляться под кулачные разборки? Не знаю. Только потасовок

не было. А может, чувствовалось, что и сам не русский? Или было все равно? Хотя через много лет о нем напишут: «Армянин одесского разлива». Все-таки армянин.

...А пока что – прощались с Таней-Татьяной. Ей через два дня в столицу возвращаться, а им сегодня уезжать, и – в другую сторону. В этот день Шурочка-Шурик долго гуляла в неинтересном одиночестве. О чем она тогда думала, можно только гадать, но наверняка мысли ее нет-нет а касались ее санаторных знакомых и их отношений, таких естественных и одновременно неизбежно тайных... Тогда никто из них, ни Таня, ни сам Эрванд, ни тем более Шурочка, не предполагали, что придет день, когда москвичом станет и Эрванд.

А пока что... Вечером на теплоходе, который держал курс на Одессу, устраивались три пассажира – Шурик с билетом в каюту второго класса и Эрванд с еще одной попутчицей – с билетами на просторную палубу. Были такие палубные билеты тоже – для малоимущих и плохо экономящих. Спали путешественники по очереди во втором классе, так что основное время проводилось среди морского простора. И под рассказы Эрванда.

Александра Грина-Гриневского в то время в советских типографиях не печатали и в школе не учили. А Эрванд читал. Из-под полы. И знал, что Грин похоронен в Старом Крыму. А когда сам там оказался, то предложил Тане с Шуриком поискать его могилу. И нашли. И положили на могилу цветы.

На теплоходе Эрванд пересказывал Грина. И не только.

А в Одессе Шурик познакомила Эрванда с младшей и старшей сестричками, с родителями, с Тёхой – дальней родственницей, прибившейся к этой семье. Тёха всегда радушно встречала всех мужчин, не исключая, конечно, и Эрванда, которого она, видимо, по тугоухости упрямо называла Сервантом. Эрванд шутливо поправлял ее: «Сервантес». В то время Захарянц жил на квартире то ли у сводной сестры, то ли у двоюродной, то есть вроде и не с чужими, но и не совсем в семье. Так, по крайней мере, я тогда думал. Потому что в подвал на Успенской, где жила Шурик, он заходил с какой-то тихой радостью, как заходят к родным людям, где ты всегда кстати, и при этом

ничего от тебя не хотят. Просто рады тебя видеть. И слышать. Иногда Эрванд соглашался чего-нибудь рассказать для младшей сестренки Шурика, так та на радостях звала к себе подружек – большой праздник!

Здесь Эрванд всегда пытались чем-то покормить, но тщетно. Зачем? Вот он сейчас выйдет, купит в магазине на углу граммов двести колбасы, «Любительской» или «Чайной», хлеб дома есть, вот и ужин. Нет-нет, спасибо... Уж как на него ни обижались, а уговорить не могли. Это если складчина – тогда другое дело. Тут можно и выпить, и поесть вкусенького, а под последний тост по-студенчески выжать из как будто пустой бутылки шампанского еще драгоценные тридцать три капли...

Старшую сестру Шурика звали Линой. Может, он увлекся ею, почти сверстницей – всего на два года его младше? Да нет, не Лина нужна была ему и не Шурик, и не младшая, совсем девочка еще, а все они вместе – вся их семья. Я думаю, семьи не хватало Эрванду.

Там, у Шурика, познакомился с Эрвандом и я.

Какой он, Эрванд? Высокий, но не скажешь, что стройный, не для строя он, не военная косточка, нет. Как будто не сутулился тогда, но мягкость была во всей его фигуре.

Позже мы будем встречаться в редакции комсомольской газеты, еще позже заведом Гая Потапова поручит мне подготовить очерк о секретаре райкома комсомола, и мы вдвоем принесем этот очерк на подпись Эрванду, уже редактору газеты... Эрванд с вполне мирным недоумением говорит что-то вроде «Ну разве можно в объеме газетного очерка дать портрет живого человека?». Мы переглядываемся и даже не пытаемся рассказывать Захарянцу, что портретный очерк считается нормальным газетным жанром. Знает он это раньше нас, но разве это аргумент... Ну а то, что я два месяца хвостиком ходил за неутомимой секретарем райкома? А теперь сообщить ей, что очерк пошел в редакционную корзину? Ну а то, что мы с Эрвандом давно знакомы или что Галя его жена, так это и не в счет вовсе. При чем тут?

Какой он, Эрванд? Как написать портрет словами?

...И вот он выговаривает мне:

– Один приехал? Шурика не взял?

Для него Шурик была символом далеких-далеких лет, когда всё было другим, всё. И солнце светило ярче. И солнце это светило не в Москве, а в Одессе...

«Вторая тетрадка»

Фамилия у Эрванда была не Захарян, мне всегда казавшаяся более армянской, а Захарянц. Почему на конце была буква «цэ», или почему у Захарянов эта буква потерялась, наверняка знают в Армении. Я же знаю, что Эрванд с буквой «цэ» на конце своей фамилии родился не в Армении, а в Одессе, но не знаю, какая была у него семья. Отец, мать, братья, сестры. До войны, в войну, после войны, да и был ли кто после войны. Ничего не знаю. Знаю, что жил на Малой Арнаутской угол Книжного переулка, что из жизни ушел не в Одессе, а в подмосковном Переделкино, а еще что похоронен не в Москве и не в Одессе, а таки в Армении. На ереванском кладбище.

Последнее место работы Эрванда – «Литературная газета», та, что в Москве. Та самая, что в шестидесятые годы была самой читаемой в Союзе. Самый большой тираж был у газеты «Правда», а самой читаемой была «Литературка». Читали в основном «вторую тетрадку» – от девятой страницы до шестнадцатой. Здесь, как говорится, бурлила жизнь и бушевали страсти, здесь обсуждались жгучие проблемы, здесь смело резали правду-матку – настолько смело, насколько это было можно в СССР. А прикрытием была «первая тетрадка», первые восемь страниц, где царствовал официальный хозяин газеты – Союз писателей. Они были вроде главные, эти первые восемь страниц, – о событиях в литературной жизни, о вопросах творчества, то есть специальные такие страницы, которые и важны, и нужны – писателям, критикам, литературоведам, любителям литературы тоже. А вот вторые восемь страниц – они же не первые! А значит, и не главные. Такая вот маленькая хитрость. Такая вот игра.

От кого хитрость-то? Все ведь знали, что к чему и почему. И что вторая тетрадка на самом деле не вторая, а первая, и что читать ее будут не только те, кто побаивается, но и те, кого побаиваются. Еще не чувствовались перемены, но отчетливо чувствовалось, что повсеместно хотят перемен. А что именно хотят переменить, про то читали во второй тетрадке «Литературки», в строках, а еще больше между строк.

«Литературная газета» была тогда газетой интеллигентных людей. Не в смысле интеллигенции как сословия (профессор – да, а шофер – нет), а в смысле интеллигентности как гармонии души и разума. Доброй души и ироничного разума. И именно в этом подчеркнуто ироничном смысле самую большую популярность имела шестнадцатая страница с названием «Двенадцать стульев», страница юмора, сатиры, сарказма, тонкого интеллигентного издевательства над разным невежеством и всякой гадостью. Страница с претензией на славу легендарных авторов романа «Двенадцать стульев», которые (авторы), как известно и в Москве, были чистокровными одесситами.

В редакции на каждую «тетрадку» был отдельный ответственный секретарь – человек, к кому сходятся все ниточки, из них и свивается-верстается газетный номер. Так вот, Эрванда поставили ответственным секретарем на эту самую – самую читаемую – вторую тетрадку. Но! Без шестнадцатой полосы. За газетные двенадцать стульев отвечал некто Веселовский, который это свое «ответчение» ни с кем делить не хотел и не делил. Равно как и славу. Так что Эрванд делал не восемь полос, а только семь.

Все оставалось бы, как было, если бы не одно обстоятельство – Эрванд помнил, что он тоже чистокровный одессит, как и знаменитые авторы «Двенадцати стульев». И ему не давала покоя простая мысль – почему он, одессит Захарянц, вот так просто, безо всякого сопротивления, уступает такую одесскую полосу неодесситу Веселовскому? И в самом деле – почему?

Тут надо бы вспомнить слово «одеколон», которое ни о чем не говорит не только рядовому москвичу, но и рядовому одесситу тоже. А вот в некоторых кругах, в частности в журналистских,

знают, что в Москве «одеколон» – это еще и «одесская колония». То есть Эрванд не первый журналист, прибывший из провинциальной Одессы. Не то чтобы покорять Москву, а просто найти достойное приложение своему перу. При этом, конечно, не надо думать, что скромники из «одеколona» отказывались попробовать через Москву покорить весь читающий Советский Союз. Конечно, нет. Потому что какая же это провинция – Одесса? И знайки Одессы литературной назовут вам не одно и не два громких имени из московских одесситов...

В редакции «Литературной газеты», как и в других редакциях, проходили так называемые пятиминутки – совещания при редакторе. Видимо, название пошло от заводов, где долго заседать некогда, каждая минута на счету. Но газета не завод, не пароход, и за пять минут тут никогда не управлялись, да и задачи такой не было – уложиться в пятиминутку. А была задача обсудить разные вопросы, среди которых всегда был вопрос, каким вышел последний номер газеты. Обычный дежурный разбор полетов.

И на этот раз разбор полетов шел в обычном режиме, когда дошла очередь до последней, шестнадцатой страницы, которая обычно и не обсуждалась – что там обсуждать? Анатомировать юмор – бессмысленная затея... Но на этот раз слова попросил новый ответственный секретарь второй тетрадки (без, как мы помним, шестнадцатой полосы). Пяти минут ему точно не хватило, он развернул картину «Двенадцати стульев» со стороны ее слабых мест, и их оказалось не так уж мало, и это было так очевидно, что... После окончания пятиминутки попросили Эрванда заниматься второй тетрадкой целиком, то есть включая последнюю полосу тоже. Между прочим, к чести ответственного Веселовского, тот не стал в позу и не стал возражать. И, кстати, получил нового автора: Эрванд иногда публиковал на его странице свои миниатюры – чтобы самолюбию польстить, да и 5-7 рублей никогда не лишние к зарплате. А в те годы билет в кино стоил 25 копеек.

Но главное, конечно, не в этом. Когда Эрванд мне все это рассказывал... Неважно даже, какими словами он при этом пользовался. Честь Одессы была задета. Попал когда-то из Одессы

в Москву Евгений Петров. Попал когда-то из Одессы в Москву Илья Ильф. Написали вдвоем замечательную книжку «Двенадцать стульев» – еще до того, как Захарянец на свет народился. А потом ее запретили. И Захарянец читал ее в киевское свое студенчество, вкушая, так сказать, запретный плод. «Утром деньги – вечером стулья!» – это навеяно Одессой. Он, Захарянец, земляк этих всех придумок, земляк самого этого замысла, самого духа этого легкомысленного произведения. Он, как и Ильф и Петров, уроженец столь же легкомысленного города, верящего, что глупости, в том числе и страшные, – преходящи, а Одесса, умная и ироничная, – вечна. Так как же может одессит Эрванд Захарянец, тоже попав в Москву, как может он смириться с тем, что на его рабочий стол ложатся на подпись все семь полос второй тетради газеты, кроме полосы, которая...

Если бы Одесса-мама следила за тем, как ведут себя за ее пределами вскормленные ею дети, она Эрвандом была бы довольна. Не забыл, не забыл, откуда родом, не отрекается от тех, кем Одесса гордится, и вот вам, пожалуйста, даже ревнует, ревнует шестнадцатую полосу «Литературки» к неодесситу Веселовскому. Молодец...

Однако все-таки уехал из Одессы, уехал, как и другие. Уехал в столицу, как и другие. Уехал, как уезжали до него и еще будут уезжать после. В Одессе им тесно, в Одессе они как неродные, а вот там, где-то...

Мы сидим с Эрвандом в большом и практически пустом пивном зале при какой-то новой гостинице. Весь этот район новый, сюда от центра ехать и ехать. Домà, домà... Большие магазины... Столица. Масштабы.

Когда подходили ко входу, Эрванд показал на с кем-то беседующую женщину:

– Здешняя проститутка.

Я удивился – очень уж невзрачна местная достопримечательность. Он не объяснил. Просто проходил мимо и сказал – кому еще показать свою осведомленность, как не приезжему?

Мы поднялись на второй этаж. Захарянец заказал по бокалу пива и соленые орешки. Потом уже, смакуя пиво, проговорил:

– Вот это был мой дневной рацион.

И добавил:

– Достаточно долго.

...Он уже давно договаривался о переходе из «Комсомольской правды», где тогда работал, в «Литературку». Долго не получалось, пока наконец не дали добро. Не в «Комсомолке», нет. Там к тому времени все настолько обострилось, что заявление об уходе подписали мгновенно. Добро должна была дать и наконец-то дала «Литературная газета», и он вздохнул с облегчением. Наконец-то. На его заявлении «Прошу принять...» начертали долгожданное «В отдел кадров», оставалось только представить трудовую книжку.

Трудовую книжку с записью «Уволен по собственному...» из «Комсомольской правды» он принес, а вот сделать запись «Принят... на должность...» в отделе кадров «Литературки» почему-то не поспешили. Что-то застопорило ход бюрократических процедур. Не спешили, не объяснялись и не обещались. Но ведь дали добро! Что тут делать? Не подавать же в суд на редактора!.. Насчет суда это не Захарянц, это я – так, для красного словца. Какой суд?!

Что-то там у них, в «Литературке», случилось. Может, Захарянц и догадывался, что за причина такая вдруг появилась, от которой всем неловко стало ему в глаза смотреть... Может, и догадывался.

И потянулись месяцы ожидания. Денег нет. Занимать? В расчете на что? Просить? Просить – это зависимость. Он один в большой Москве... Говорят, одиноким можно быть и в толпе. А я скажу, что толпа – это множество одиноких...

А в какой-то момент проявилось, что Эрванд-то армянин! И что у него в Армении есть родня. И что его рады там видеть... И он уехал гостить в Армению.

Я не спросил, кто кого нашел – он родственников или родственники его, да это и неважно. Важно, что не один, что есть родня, и родня ему рада. (Кстати, мы с Эрвандом потому и сидели в казенном пивном зале, что дома у него, в однокомнатной квартире, обосновались ереванские гости Москвы.)

Я понял, что в Армении он отдохнул душой, попутешествовал и даже написал сценарий, по которому – даже! – сняли фильм. Я потом вспомнил, что видел этот фильм – случайно и не с самого начала – с фамилией Захарянц в титрах. Тогда подумал, что однофамильцы, а оказывается... Да, раздумчивый, лиричный такой телерассказ об Армении, и запомнилось чувство отрешенности от всего-всего, только горы, небо...

Пока гостил в Армении, дождался, что в Москве решился вопрос с работой, и вот он в «Литературке». На второй тетрадке. Все хорошо.

Вот готовил доклад редактора. Не лишь бы куда – на съезд писателей.

Ну да, на съезд писателей. Не шутка. Понятно, что не речь на съезде в числе других речей, а доклад редактора писательской газеты. Тут и панорама страны должна быть, и на этом фоне писательская жизнь с проблемами (какая же жизнь без проблем?), и собственно газета – вчерашняя, сегодняшняя и, конечно, на перспективу. Я эту объемность чувствую, но он о ней не говорит. А говорит – как интересно делать свежими уже будто затертые выражения. Стоит только в устоявшемся сочетании слов поменять хотя бы одно, как срабатывает принцип неожиданности: ждешь привычного – ан нет, оно не то. И внимание зала уже не усыпляется словесным штампом, а наоборот, это самое внимание как будто подзаряжается все время.

Доклад понравился и редактору, и слушали хорошо.

Я потом подумал... Как-то привычным стало это – пишет один, а аплодисменты снимает другой. Да, это правда, что не мы одни такие, и слово «спичрайтер» по миру не от нас пошло, но как-то пошло это, и стыдно должно бы быть. Однако нет, не стыдно. Как будто само собой разумеется, что стоящий на трибуне сам писать не должен. Конечно, всякое может случиться. Однако если не композитор, например, исполняет свое сочинение, а это обычно так и бывает, то его имя обязательно же называют, а как иначе?..

Но тогда я не думал об этом, да и Эрванд наверняка не думал. А было ему просто приятно, что дело сделалось хорошо, и ему приятно было этим похвастать. Хотя слово «похвастать»

вроде бы и не к нему, но вот не умолчал же ни про шестнадцатую полосу, ни про удачный доклад. Хотелось все же, чтобы кто-то оценил, а вокруг, видать, мало кто хотел это сделать. И он и от меня не ждал похвалы, нет, он сам себя похвалил, но вслух, чтобы я услышал.

И еще чтоб я услышал про туберкулез. И в легких, и еще, и еще...

Туберкулез. Значит, вернулся? И даже пошел вширь...

Когда сам здоров, то и не знаешь, как отнестись к чужой болезни. Жаль, конечно, ну а дальше что? Ну, можно спросить, в чем проявляется. Но это всё праздные вопросы. Помочь-то чем? Жить в ожидании смерти – это как? И нечем помочь. Просто жаль, вот и всё.

Некролог

...Почему Шурика не взял. Будто она вещь – упаковал и привез. Поехал бы сам в Одессу! Нет, поехать в Одессу пока в планах нет... У него в планах нет, у нее в планах нет, так больше и не встретились.

А вот сестра Шурика Лина... Как-то, вернувшись из поездки в Москву, она показала Шурику снимки с Эрвандом в черном конверте из-под фотобумаги. Должна была с ним поделиться, но его телефон не отвечал, так все снимки остались у нее.

Когда попадали в Москву, останавливались у Фанечки – это у сестер двоюродная тетка по отцу. От Фанечки Лина тогда позвонила Эрванду, сказала, что в Москве и что собирается к тетке на дачу, так что если хочет повидаться, пусть приезжает к ним на 5-ю Тверскую-Ямскую, Фанечкин муж отвезет. На даче Фанечкин муж их и фотографировал. Лина на фотографиях с готовностью улыбается, а Эрванд по обыкновению спокойно сосредоточен и по обыкновению в берете. Это его, как сейчас говорят, имидж. Не кепочка, не шапка зимой. Берет.

Для москвичей дачное Подмосковье – большая отрада. Хоть Переделкино, хоть в любую сторону. Да и сама Москва москвичу совсем не то, что проезжему-приезжему командированному.

Мы видим только вокзал, метро да столовую где-нибудь на Варшавском шоссе. А москвич может забрести зимой в какие-нибудь заснеженные Сокольники и полюбоваться пустынной аллеей с как будто примерзшей друг к другу парочкой. Или в хороший летний день заглянуть ненароком в сад Мандельштама, где на крашеной скамейке, врытой в землю рядом с лопухами, греется на солнышке старомодная старушка в вязаной шапочке. Шапочка похожа и на шляпку гриба, и на шарик одуванчика. Теплынь, ни ветерка, и на пруду ни рябинки – гладь.

Конечно, Захарянец знал Москву не только парадную, но наверняка не мог он знать ее такую, какую знают ее выросшие в ней москвичи. Как знают Одессу выросшие в ней одесситы. Потому что только в свободном от взрослых забот детстве есть время и неутомимые ноги, чтобы сунуть свой нос в еще неизведанную щель. А этих щелей – тьма... Всем удобна для жизни Москва, только вот...

– Опять без Шурика приехал...

Подмосковные фотографии Захарянца лежат в Одессе, а сам он в Одессу уже не вернулся. Не знаю, гадали ли ему гадалки, или нет, а если гадали, то что там нагадали в графе «Чем сердце успокоится». Только умер он не в постели и, как надо бы сказать, по своей воле.

Может, именно из-за этого его своеволия дисциплинированная газета «Комсомольская правда», заметным сотрудником которой он еще недавно был, «Комсомолка», к своим всегда чуткая, в случае с Захарянцем на некролог не сподобилась, и это в Одессе заметили. А «Литературка» некролог дала, уважительный и с печальной горечью. В Москву собрались товарищи Захарянца по молодежной газете, говорили потом, что искали меня (считали близким ему человеком), но не нашли. Поехали, чтоб попроситься от Одессы.

И первое, о чем тогда подумалось, это именно туберкулез. Не я один знал о переживаниях Захарянца. И каждый как-то мог себе представить, каково это – жить в непрестанном ожидании начала конца. Зная в подробностях, как это будет происходить – вначале, потом...

Но как-то опять была в Москве Лина. Остановилась, как обычно, у Фанечки, позвонила уже не Эрванду, а его жене, уже давно бывшей жене, с которой была знакома еще с Одессы, когда все у них было безоблачно. И не просто была знакома, но и дружна, и достаточно доверительно, и даже теперь доверительно, потому что не одобряла никогда их неожиданного развода. Даже язык не поворачивался сказать – «бывшая».

У людей сомневающихся в ходу поговорка «вскрытие покажет»... Жена Эрванда Захарянца рассказала Лине, что по результатам вскрытия, то есть, как следует из заключения патологоанатома, никаких новых очагов туберкулеза в организме не обнаружено. Не было новых очагов. Ни в легких, нигде. Вот так.

А о Тане-Татьяне из старокрымского санатория я узнал уже после смерти Захарянца. Конечно, в Москве они могли и встретиться, случайно увидеть друг друга в толчее универмага где-нибудь на Колхозной площади. Он вполне мог и захотеть разыскать ее, по крайней мере когда остался один. Спросить его об этом могла только Шурочка, но, как мы знаем, после его отъезда из Одессы они больше не виделись.

